

К. Г. ЛЕВЫКИН

Деревня Левыкино и ее обитатели



Константин Левыкин

Деревня Левыкино и ее обитатели

«Языки Славянской Культуры»

2002

Левыкин К. Г.

Деревня Левыкино и ее обитатели / К. Г. Левыкин — «Языки Славянской Культуры», 2002

Воспоминание-повесть об истории трех русских деревень старинного Мценского уезда - Левыкино, Ушаково, Кренино - и о судьбе их крестьянских родословий в годы лихолетий XX в. Свою жизнь они начинали в далекое Смутное время XVII века. В это тревожное время сложились особенности уклада жизни этих и подобных им деревень государственных крестьян, предки которых несли когда-то государеву службу на южных границах отечества. Тогда уже обозначились особенности характера, морально-этических норм поведения, гражданского сознания и культурных традиций этого особого слоя российского крестьянства. Автор книги унаследованной от своих дедов и родителей памятью сердца, а также с помощью профессионального опыта историка-обществоведа ищет в воспоминаниях о родословиях Левыкиных, Ушаковых и Ермаковых эти особенности и в них находит ответ на вопрос, как и почему им удалось сохранить себя в жестоких социальных, экономических и политических стихиях XX века. Последняя трагедия на Мценской земле разыгралась осенью 1941 года и продолжалась вплоть до 1943 г., до разгрома фашистских оккупантов в сражении на Орловско-Курской дуге. В нем и на других фронтах воевали и Левыкины, и Ушаковы, и Ермаковы. Фашистские бомбы и снаряды разрушили маленькие деревеньки, простоявшие на своей земле почти четыреста, а может быть, и больше лет. Но не распался тогда колхоз «Красный путь», не исчезли с карт Мценского района названия родных деревень. Они оставались еще живыми. Однако конец их был близок: он наступил в суеде послевоенных перетрясок колхозного строя. Автор книги пытается объяснить и эту причину случившейся драмы.

© Левыкин К. Г., 2002

© Языки Славянской Культуры, 2002

Содержание

Деревня Левыкино и ее обитатели	7
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Константин Григорьевич Левыкин

Деревня Левыкино и ее обитатели

*Памяти моей родной деревни Левыкино, моих родителей,
родственников и всех деревенских земляков – Левыкиных и Ушаковых-
посвящаю*

Издание осуществлено при поддержке *Российского гуманитарного научного фонда* (РГНФ) проект 00-01-16087

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G • E • C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales on this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

Деревня Левыкино и ее обитатели

Мне всегда казалось, что право писать мемуары, рассказывать посторонним людям о своей жизни, об увиденном и услышанном на ее пути имеют только люди исключительные – государственные деятели, известные ученые, писатели, военачальники, герои, словом, люди, имеющие большие заслуги на том или ином поприще жизнедеятельности. Себя я никогда не считал таковым, а поэтому никогда и в мыслях не имел смелости, да и желания на такой поступок. Жизнь моя мало отличалась от жизни моих сверстников. У моего поколения была общая судьба, как мне казалось, одинаковые перспективы и возможности. Нас объединяли общие идеалы, а поступки диктовались общими историческими и материальными условиями жизни.

Я родился в советское время, учился в советской школе, родители мои были простые люди, вышедшие из крестьянской семьи среднего достатка. Они воспитали меня, моих братьев и сестру в соответствии со своим пониманием гражданских, общественных и родительских обязанностей. Этого воспитания хватило нам всем, чтобы прожить честную жизнь и передать родительскую эстафету нашим детям.

Я ушел на войну добровольцем. Как и многие, честно выполнил свой долг перед Родиной. Но каких-либо выдающихся подвигов не совершил. Мне суждено было остаться в живых, хотя убитым я мог быть множество раз. Как и мои сверстники, ушедшие на войну со школьной скамьи, я вместе с ними одинаково решал свои жизненные задачи в мирное время. Учился в университете, а потом всю жизнь работал в меру своих возможностей, как и все. Поводов для письменных воспоминаний у меня не было.

Но с течением жизни, по мере достижения известного возрастного рубежа память все чаще и чаще стала возвращать меня в прошлое, к моим родителям, родным и неродным людям, к родным местам и дорогам, по которым когда-то ходил, к моим друзьям, которых у меня было много, и к немногим недругам, к тем, кто меня понимал, и тем, кого я не сумел понять. Все больше и больше мной стало овладевать наивное желание: вновь – не заново, а только вновь – прожить то, что безвозвратно ушло и что изменить, увы, уже нельзя. Сделать же это возможно только единственным способом – запастись бумагой и карандашами, выбрать свободное время и сесть за стол.

Но, во-первых, долго не было свободного времени, а во-вторых, желание долго упиралось в сомнения и обыкновенную лень. Наконец свободного времени стало достаточно, и однажды утром я сел за стол. Но я долго сидел за столом, не написав ни одного слова, не придумав начала, которое оправдало бы мой поступок.

Дело оказалось сложнее, чем я предполагал. Наконец, первые строки все-таки появились. Теперь я их перечитываю и сомневаюсь. Я не очень надеялся и до сих пор не питаю никаких иллюзий, что эти воспоминания найдут постороннего читателя. Но все-таки хотелось бы, чтобы дети мои и внуки, а потом, может быть, и правнуки, даже если они будут беспощадно строги к оценке моего времени, нашли бы время их почитать. Они, надеюсь, простят мне мои литературные неудачи и поверят в правдивость излагаемых фактов, в искренность моих убеждений и честность поступков.

А начинать я решил с рассказа о моей деревне Левыкино, в которой жили мои деды и бабки, мои родственники и родители, в которой родился я сам и в которой все жители носили одну и ту же фамилию – все были Левыкины. И припомнился мне яблоневый сад, который когда-то посадили наши прародители по краям Левыкинской деревни и оставили его нам в наследство как добрую память о себе.

* * *

Еще с далекого детства меня занимали всяческие догадки о каком-то особом происхождении нашей деревни, о каком-то только ей свойственном достоинстве. Удивляли меня и название деревни, и звучание нашей деревенской фамилии. Долгое время я был уверен, что она была одной из редких среди прочих названий.

Сама по себе деревня Левыкино была, как и многие другие в наших мценских окрестностях, невелика по размеру и незаметна по всем остальным признакам внутреннего устройства и быта. И все же и у меня, и у моих родственников и односельчан всегда жило особое чувство по отношению к родному месту и даже амбиция причастности к какой-то необычной истории этого места. Ведь эти места знакомы миру в описаниях великих русских писателей: Тургенева, Толстого, Фета, Бунина, Пришвина. Читая их прекрасные повести, романы и рассказы, я всегда мысленно ходил и жил вместе с их героями по Бежиным лугам, Поповым и Монашьям верхам, полям и лесам, сознавая себя органической частью прекрасной нашей южнорусской подстепной природы и всего ее человеческого отродья. Все это всегда наполняло меня и многих других моих земляков чувством гордости.

И все-таки деревенька наша Левыкино была неприметна и неказиста. И казалось, что рассказать о ней было нечего. Жили в ней люди, как все, трудились, как все, и рождались и умирали тоже одинаково. Но как-то однажды, когда я уже стал историком по профессии, некоторые ее атрибуты, сохранившиеся в обиходных названиях мест, деревенских угодий, в определениях обычаев, зазвучали для меня языком далекого исторического времени. Густые орешниковые заросли за деревней назывались у нас засекой, а поляна между засекой и краем деревни – лазами. А орешниковые кусты на задах деревни звались колычками. И тогда я уже стал понимать, что возникновение деревни в далеком прошлом было не случайным в истории не только наших мест, но и в истории государства российского и ей была в ней назначена своя роль. Она всю жизнь стояла на древней оборонительной черте Московского государства.

Но, поняв это, я, к сожалению, не занялся разыскиванием новых исторических фактов, которые подтвердили бы мою догадку. Предмет моих интересов как историка лежал в более позднем историческом времени, а до писания мемуаров дело еще не доходило. Но вдруг мои догадки получили новый импульс любопытства.

Однажды ко мне как к директору Государственного Исторического музея пришла посетительница. Она представилась как научный сотрудник Института русского языка и литературы Академии Наук СССР. К сожалению, ее фамилии я уже не помню. Просьба ее ко мне касалась допуска к работе в фондах отдела древних рукописей и старопечатных книг. И вдруг она неожиданно спросила меня, откуда я происхожу родом – не из Мценска ли? Я сказал: «Да, из Мценска, точнее из деревни Левыкино Мценского района Орловской области». Собеседница моя удивленно и радостно оживилась. И тут я узнал от нее, что в книге «Южнорусские наречия», составленной из отказных грамот XVII века и изданной ее институтом, несколько раз упоминается фамилия служивого человека из Мценска, сына боярского Василия Мелентьева Левыкина. И добавила вопросом: «Не предок ли он ваш?» Теперь еще больше удивился и обрадовался я, так как воспринял сообщенный мне факт весточкой от далекого предка. Вскоре она подарила мне экземпляр книги, и я с интересом стал вчитываться в тексты грамот по Мценскому уезду, а потом и по другим уездам Орловской и Курской губерний. И вот из XVII века мне открылись знакомые с детства названия деревень, имен и фамилий.

Наконец на одной из страниц книги, в отказной грамоте я увидел название моей деревни. Сейчас я читаю ее с самого начала: «Лета 1634 июня 25 день, книги поместные отказные по государевой Царя и Великого князя Михаила Федоровича Всея Руси, грамоте из Поместного

Приказа за подписью дьяка Пятого Спиридонова и по наказной памяти Воеводы Лазаря Петровича Ододорова.

Отказ мценянина сына боярского Семена Яковлева, сына Лобова по челобитию мценянина Еремея Русинова сына Оших-мина. Ездил он (т. е. С. Я. Лобов) в Мценский уезд, Чернский стан, поместья Дмитрия Субочева в деревне Левыкинской под Баклановым лесом...»

Вот оно что, прочитавши, подумал я! В 1634 году деревня-то наша уже стояла там, где спустя четыре столетия родился и я. И тут же возникло соображение, что она стояла и много раньше того случая, когда туда на отказ приехал сын боярский Семен Лобов. И место для деревни было выбранное тогдашними людьми, может быть, в XVI веке, а может, и того раньше, не случайное, а очень боевое и сторожевое на всю округу. И поселились в ней тогда люди, чтобы далеко видеть и предупреждать страну свою, землю свою о всяческих опасностях.

Сейчас деревни Левыкино нет. Стерло ее с лица земли жестокое лихолетье Великой Отечественной войны. В течение почти двух лет, в 1941—1943 годах, сжигала и разметала она взрывами авиационных бомб и артиллерийских снарядов и нашу, и другие окрестные деревни, вставшие когда-то в древности на боевых высотах и косогорах на службу государеву. Сгладила война их усадьбы, рубежи, рвы и канавы, изгнала оттуда людей на новые неблизкие места.

И все же! И все же и до ныне не исчезла еще память о нашей деревне. Ее хранят старые ракиты, еще не сгнившие до конца пни от могучих дубов и лип, росших когда-то по околицам, и вдоль исчезнувших дорог, и вокруг старого деревенского выгона, и на плотинах деревенских прудов. А в шестидесятые-восемидесятые годы стояли на ее месте два-три обитаемых домика, в которых доживали свой век покинутые или осиротевшие старики. К ним не пришли с войны их сыновья. Теперь только они охраняли угасающей жизнью своей эту микроскопическую опорную точку истории Русского государства как топографическую реликвию на некогда проходившей здесь ее исторической и военной границе. За чертой исчезнувших деревень когда-то начинались здесь дикие и опасные земли, из-за которых наваливались на Русь вплоть до XVIII века орды грабителей. В XVII веке это были уже не волны кочевников, ищущих кормовые пространства и иногда оседающих на этих пространствах, вживающихся в них, принося им свои названия и воспринимая местную жизнь с ее обычаями, хозяйственным укладом и культурой. Теперь это были подготовленные и организованные набеги грабителей, сжигающих дома, опустошающих земли, угоняющих скот и уводящих в полон русских жен и невест.

Неслучайно 25 июня 1634 года в деревню Левыкинскую приехал сын боярский Семен Лобов по государевой грамоте Царя и Великого князя Всея Руси Михаила Федоровича передать служилому человеку мценянину Еремею Русинову сыну Ошихмину поместье Дмитрия Субочева. «То Дмитрия Субочева не стало, умер в нынешнем 1634 году, а жену его взяли в полон крымские люди». В поместье тогда остались сиротами «четыре дочери: девки Фетиница, да Онтанидица, да Не-лидица, да Озиница».

Новый хозяин Еремей Русинов сын Ошихмин «сговорил за себя большую дочь, девку Фетиницу. И Семен Лобов отказал тому Еремею Ошихмину и своякиням его из поместья Дмитрия Субочева тридцать четей в поле, а дву потому же (т. е. всего 90 четей при трехпольном обороте) со всякими угодьями по семи четей человеку да двор помещиков Дмитрия Субочева». Из грамоты мы узнаем непростую структуру поместья. Оказывается, что во дворе Субочева жил еще крестьянин Игнатка Федоров с сыном Сенькой. А к поместью примыкал еще другой двор крестьянский, а в нем жил крестьянин Исайка Степанов с сыном Степанкой. Видимо, это были зависимые от служилого человека люди – крепостные. На отказе, т. е. в момент передачи, в качестве свидетелей присутствовали жившие по соседству и, возможно, даже в той же деревне другие дети боярские, тоже помещики «Федор Лаврентьев сын Леонов, да Афанасий Алферьев сын Очкасов, да Семен Никонов сын Булавенков, да Аникей Алферьев сын Очкасов, да их крестьянин Федот Иванов, да Федора Леонова крестьянин Фрол, да Но-восилец

сын боярский Григорий Алдакимов сын Таратухин, да Илейка Наседкина крестьянин Емельян, Государева сотника крестьянский староста Семена Наседкина Мокей Семенов с товарищами».

На акте передачи поместья умершего Дмитрия Субочева в деревне Левыкинской в тот день, очевидно, собрались все ее обитатели и соседи: служилые люди, дети боярские, выполнявшие здесь государеву службу по охране русской границы. Вместе с ними были и их крепостные крестьяне. Из этого можно сделать вывод о том, что к указанному времени место деревни и ее окрестностей было достаточно обжитым и выполняло определенную функцию в системе Мценского района обороны границы и постоянного наблюдения за дикой степью. И еще одно предположение возникло при чтении грамоты. Видимо, тогда определилась оптимальная мера количества дворов в, если можно так назвать, типовой служилой деревне. Это прежде всего зависело от возможности прокормиться на ее неудобной для ведения хозяйства, ограниченной территории. Напомню, что в памятное мне время на всю деревню здесь имелся только один колодезь с водой, пригодной для людей и скота. Не случайно за недостатком воды с тех давних времен люди научились здесь строить пруды и плотины, чтобы собирать и экономно расходовать атмосферную воду. Деревни на боевых местах вдоль засечной черты в 15—20 дворов можно, наверное, определить для нашей мценской округи как типовые для своего времени.

Неясным, однако, остался для меня вопрос о том, с какого времени в таких деревнях разноименные семьи детей боярских и их крестьян стали жить под общей фамилией. Не разгадал я и того, почему деревня наша имела название Левыкинской. Правда, в других грамотах Мценского уезда я встретил имя сына боярского Василия Мелентьева Левыкина. Ему тоже поручалось выполнение указов Московского Царя по передаче поместий в других деревнях новым хозяевам за убытием старых. Может быть, или он сам, или его предки и основали деревню Левыкинскую?

Все это, однако, требует подтверждения другими документами. Я надеюсь, что мой сын Алексей, может быть, заинтересуется моими предположениями и займется их проверкой. Может быть, ему удалось бы выяснить, какая из четырех де-вухек-сирот Дмитрия Субочева и кто из детей боярских или их крестьян дали начало моей родословной.

Но пока сам я ограничусь сделанными предположениями, будучи уверен в наличии для них реальной основы. Теперь же я опишу деревню, какой я ее запомнил с детства сам.

Давно уже исчезло из упоминания в нашей округе имя того Баклановского леса, который был назван в отказной грамоте лета 1634 в качестве ориентира местоположения деревни Левыкино. Не только я, но и мои родители, а также и бабушка моя просто не знали этого наименования. В нашем, двадцатом веке пользовались уже другими ориентирами.

Деревня Левыкино до начала Великой Отечественной войны стояла и дымила своими трубами по левую сторону, через луг, от Каменной дороги, как мы называли в свое время нынешнее асфальтовое Симферопольское шоссе. Кстати, скажу, что новая автомобильная трасса теперь проходит по другую сторону нашей деревни. И, увы, увидеть ее с нового участка трассы из-за разросшегося молодого осинника нельзя. А в конце двадцатых – начале тридцатых годов, из которых я веду свой рассказ, деревня стояла на 301-й версте дороги от Москвы. Здесь сходились новая и старая трассы древнего пути из Московского государства на юг, в Крым. Я помню участок широкой гужевой дороги, которая выходила на Каменное шоссе справа от железнодорожной станции и деревни с одинаковым названием Бастыево. Называли эту дорогу большаком. А тянулся он сюда из-за противоположного станции Бастыево Стрелецкого леса, за которым и ныне находится знаменитое тургеневское Спасское-Лутовино-во. Оттуда, с севера тянулась эта важная магистраль из Москвы на юг, в Крым. А наша деревня, расположенная на высоком месте слева от нее, охраняла свой участок дороги на подъезде к городу Мценску. До города от нас было еще семь верст.

Чтобы попасть в нашу деревню, надо было от станции Бастыево проехать или пройти пешком с километр пути по старому большаку и пересечь на отмеченной триста первой версте

Симферопольское шоссе. Отсюда сразу открывался вид на наше Левыкино. С этого места я в воображении своем до сих пор с детства помню и вижу ее покрытую пеленой цветущего в весенние дни яблоневого сада, А вокруг над полями ржи и пшеницы летним днем голубело высокое небо, в котором раздавалась неумолчная песнь жаворонков.

Воображение это запечатлелось в моей памяти от ежегодных встреч с деревней, когда наша, уже ставшая городской, семья приезжала сюда на месяцы летних каникул и отпусков. На станции нас обычно встречали с подводой наши деревенские родственники. На телегу грузился весь наш багаж с припасами городской продукции, а мы, все приезжие, шли пешком сбоку телеги. Идти до встречи с деревней было недалеко, не более километра. И она открывалась перед нами неожиданно из-за бастыевского пригорка, через расстилавшийся под нашими ногами не скошенный еще цветущий луг, дугою опоясывающий с востока на запад подножие нашего деревенского чудо-острова.

Наверное, в древние времена этот заносимый зимой по верхние края снегом, по весне затопляемый водой, а к началу лета расцветающий цветами разнотравья луг служил преградой на пути внезапных нападений на нашу сторожевую деревню крымской конницы с тыла.

Восточный конец луговой дуги, опоясывающей деревню, был перегорожен плотиной, поверх которой вниз по лугу стекал ручеек от недалекого родничка из прорытого земляного рва. Он составлял часть земляной фортификации на нашем придеревенском участке оборонительной засечной черты. Мне кажется, что самым ранним краем своей детской памяти я застал этот родничок еще живым. А когда он окончательно засох, мы с товарищами моими ходили туда в ров с лопатой и пытались откопать его. Но наши попытки были тщетны.

На плотине в давние года были посажены двумя рядами ракиты. Они выросли в большие деревья с толстыми, в два, а то и в три обхвата стволами с разросшимися зелеными кронами. Несколько старых деревьев стояли еще и в последний мой приезд. Я проходил мимо них, а они встречали меня шепотом зеленых листьев на тихом непрерывном ветру. От тихого их шума и прозвали мои предки это место Шуменками. Шумят старые ракиты что-то на своем ракитовом языке о том, что они видели, что слышали. Да вот до сих пор никому не довелось разгадать их рассказа.

Прорытый когда-то за плотиной ров затем проходил по южной окраине деревни. Его остатки еще зрительно обозначались в памятные мне тридцатые годы.

За этим рвом перед деревней расстилалась просторная и ровная поляна. Она имела название лазы и служила вторым деревенским выгоном. Наверное, здесь когда-то через древнюю засеку был проделан лаз, давший нашей прекрасной поляне свое имя. На ней мы предвечерней летней порой в ожидании стада играли с азартом в лапту. А орешниковые кусты сохраняли тогда название засеки. Орехов в них хватало на всю нашу деревенскую ребятню.

Теперь я могу допустить, что и поляна-лазы, и кусты-засека, и кусты-колычки – все это были остатки некогда стоявшего здесь дремучего кленового и дубового Баклановского леса, упомянутого в знакомой нам Отказной грамоте, писанной мценянином Иваном Петрищевым в 25 день июня лета 1634. Мой старший брат говорил мне, что Бабушка наша Арина Стефановна будто бы рассказывала ему об этом лесе, о том, как она в молодости своей ходила в этот лес по грибы и по ягоды. А иногда в его дремучих чащобах приходилось долго искать забредших туда деревенских коров. В древние времена через лаз предки наши выгоняли на опасные поляны леса пасти своих коров под строгим и постоянным наблюдением. Не случайно, наверное, у нас в речи не употреблялся глагол «пасти». Деревенское стадо у нас «стерегли», охраняли от возможных нападений все тех же крымских налетчиков-грабителей.

А на западной окраине деревни луговая долина, обогнув ее узкой ложиной, выходила в Попов верх. До него по северному обводу, по обеим сторонам луга рос, а сейчас еще более разросся мелкий осиновый и березовый лес. Он, как и раньше, зовется Кренинским лесом. За

ним на косогоре сохраняются еще остатки маленькой деревеньки Кренино. Кренинский лес в Поповом верху заканчивался густыми зарослями орешника и ежевики. Здесь всегда было много и земляники.

Слева от Попова верха за дубовой рощей, или просто дубинником, стояла вплоть до конца Великой Отечественной войны наша Беляниновская церковь Иоанна Предтечи. Рядом с ней был погост и старая церковно-приходская школа. В этой церкви крещены были и похоронены мои деды и прадеды и бабки с прабабками; крестили в этой церкви и меня. Во фронтовом сорок третьем году во время битвы на Орловско-Курской дуге на Поповке и в старой церкви стоял командный пункт воздушной армии. Мне об этом рассказывал бывший в то время членом Военного совета этой армии генерал Московский. Церковь служила наблюдательным пунктом. С ее колокольни небо и горизонт просматривались чуть ли не до самого Орла. Ее обстреливали из дальнобойной артиллерии, бомбили с воздуха. Но она уцелела. Святое место не разрушила жестокая война. Но в 1945 году мценские власти распорядились ее сломать, а кирпич употребить якобы на восстановление разрушенных зданий города. Никто не ведает теперь, сколько домов построили из этого святого кирпича. С тех пор наш погост остался без церкви.

На нем до сих пор хоронят, но уже без церковного пения, без ладана и без звона колоколов. Да ведь для новых поколений эти атрибуты стали надолго ненужными. Старики уже давно отошли в царство небесное. А недавнего «совка» быстренько принесут сюда, скажут коротенькую речь с напутствием: «Спи спокойно, дорогой товарищ!» – да и поспешат на поминки. А скоро после них и забудут своего «дорогого друга и соратника». Неприкаянный вид имеет теперь наш погост на голом месте. Ничего здесь не напоминает старую благочестивую Поповку.

А вот наш прекрасный деревенский луг каждую весну и в лето цветет, и благоухает, и будит воспоминания детства. Однажды я прошел по нему со своим старшим сыном и вспомнил, как, бывало, мы встречались с ним в одно из солнечных утр нашего приезда в деревню из Москвы на летние каникулы.

Для взрослых людей луг был главным сенокосным угодьем. Был урожай сена хорошим, был сенокос в сухую погоду, было у наших коров достаточно сена. Значит, было и молоко, значит, была в зиму сытая жизнь. Но бывало и иначе. Лучше не вспоминать того, что было иначе!

А для нас, деревенских ребятишек, луг был прекрасной рекой радости. С ранней весны крестьянская детвора паслась на нем после долгой зимы, пробуя первые дары пробуждающейся и расцветающей природы. Сначала мы объедались кислыми листьями лугового щавеля, его молодыми и нежными стебельками, которые назывались у нас кочетками. Потом мы искали на лугу вкусную, горьковатую, как редиску, траву под странным названием сергибус. Съедобными были у ней толстоватенькие мясистые стебельки. Нигде кроме наших мест я не слышал такого названия лугового растения из семейства зонтичных. О таком названии этого семейства я узнал уже из школьного учебника ботаники. А тогда на лугу мы собирали целые букеты стебельков, очищали от шершавой оболочки и с аппетитом друг перед другом поедали этот луговой деликатес.

А на луговых склонах, по опушке Кренинского леса, в березняке мы находили очень редко попадающиеся желтые цветочки баранчиком на невысоком тоненьком стебельке. Их так и называли – баранчики. Он тоже был съедобен. Но теперь вкуса его я не помню. Помню только, что мы очень усердно его искали, а когда находили, с удовольствием съедали его баранчиком завитую желтую головку.

С середины лета уже по скошенным склонам поспевала луговая клубника, некрупная, но очень сладкая и душистая. Особенно сладка и духовита, да и покрупнее, она поспевала на теплых каменистых местах.

Такие места называли у нас каменчиками. На них сходились иногда в соперничестве ребяташки из разных, недалеких друг от друга деревень. Побеждали те, кто оказывался посильнее.

В березняке Кренинского леса и в Поповом верху в эту же пору было много земляники, костяники, а в зарослях орешника – куманики. Куманикой называли у нас ежевику. А землянику называли просто ягодой. Это название было, наверное, общим у всех славян. Однажды, побывав в Югославии, я в одном из ресторанов среди десертных кушаний в меню прочитал название «ягода». Под этим названием нам подали клубнику в сахаре. Там же, в Югославии я услышал название лесной стороны, видной вдалеке с пригородных высот Белграда. Шумавой называется эта сторона. И я вспомнил наши деревенские Шуменки в начале нашего деревенского луга и запомнившиеся с детства наши русские строки: «Шумит, гудит Зеленый Шум».

В нашем Кренинском осиновом и березовом лесу в сырое, дождливое лето было очень много грибов, особенно подосиновиков и подберезовиков. А в Поповском дубиннике водились и белые. Мценские горожане и сейчас приезжают сюда по грибы с большими корзинами. И всегда они не остаются пустыми.

А еще на нашем лугу росла на открытом склоне перед деревней одинокая дикая яблоня. Она расцветала и плодоносила через год. Ее плоды поспевали к концу лета. Их было очень много. С ними яблонька в осень расцветала второй раз. Плоды были необыкновенно красивы, ярко-пунцовой окраски. Но они были и необыкновенно горьки. Наберешь, бывало, не устояв от соблазна, целую пазуху этих яблочек, попробуешь, да и с большим сожалением разбросашь. А потом оказалось, что если эти яблочки собрать и, дождавшись зимы, заморозить их в холодном сарае, то они становились не только съедобными, но и необыкновенно сочными и нежно-кисло-сладкими.

И еще одно воспоминание о луге живет во мне до сих пор. Я вспоминаю на этом лугу летнее утро на день престольного праздника Иоанна Предтечи. Накануне с вечера и в наступившее утро к нам в деревню съезжались гости. Редко в какой двор они не приезжали. Приезжали на празднично убранных подстилками телегах, всеми семьями. Гости были празднично одеты. Все было очень достойно. Хозяева радушно встречали, а гости не менее радостно встречались. Встреча была праздничной и для лошадей. Их распрягали, ставили под навес и задавали корм. Исчезла наша и подобные ей деревни. Исчез и этот древний родовой обычай встречи гостей.

В такое утро я и мои товарищи, к кому еще гости не подъехали, выбегали на край нашей деревни и с плотины с нетерпением смотрели на дорогу, «не едут ли наши». А взрослый народ уже тянулся к церкви. Над нашим лугом плыл звон колокола, зовущий к праздничной литургии. Этот звон действительно малиновой мелодией разливался по всей нашей деревенской округе. А под нами расстился еще не скошенный, как будто специально раскрашенный к празднику луг. Дон-дон, выбивал в большой колокол наш пономарь – хромой и многодетный Тихон. А потом его проворными руками начинался серебряный перезвон малых колоколов. Тихон умел звонить. Говорили, что под хмельком он мог вызвонить комаринского. Но в этот день святого престола Иоанна Предтечи все было благочестиво. На колокольне ему помогал его старший сын Эммануил. А в деревне он звался Манулкой. Был этот Манулка пронырливым и разбитным мальчишкой-драчуном. А вырос в известного по всей округе вора-конок-рада. Был он за это неоднократно и жестоко бит мужиками. Но это не отучило его от преступного промысла. Дома он не жил. Бродяжил. И в конце концов где-то был прибит до смерти. В памятный же мне день Манулка был еще мальчиком – ровесником моей сестре.

Праздник Иоанна Предтечи в просторечии у нас называли Иваном Притейчем. Это был очень светлый и радостный праздник. В это время в деревне завершался один цикл весенне-летних работ и начинался другой – сенокос. Чаще всего на него выпадала хорошая погода, а вместе с ней – и хорошее настроение у всех людей. Праздничный отдых был нужен им для следующей трудовой натуги.

Радости нам, ребятам, в этот день добавляли старушки торговки, приходившие из города с диковинными товарами-гостинцами. На зеленой поляне перед церковью с утра начиналась праздничная ярмарка. Бабушки-торговки все были какие-то необыкновенные, чистенькие, в белых платочках. Они устраивались в ряд и выставляли на показ свой гостиничный товар: пряники, жамки, длинные, перевитые разноцветной лентой конфеты, леденцы петушками на палочке, баранки, в маленьких кулечках жареные подсолнушки и игрушки – глиняные свистульки в виде лошадок, коровок, козлят и птичек, громкие трещотки и еще не бог весть что такое, от чего было невозможно ни отойти, ни глаз отвести. До сих пор не проходит у меня несбыточная мечта вернуться туда в это светлое утро, походить босыми ногами по утренней росе, по нескошенному лугу, по прохладным утоптаным дорожкам, нежно ласкавшим когда-то в жаркий полдень своей прохладой наши разгоряченные ребячьи пятки. Но где теперь эти дорожки?!

Мне приходилось в недавние времена бывать в старых деревнях Тульской, Рязанской, Ярославской и Владимирской областей. Особенно страшное впечатление в них производили на меня деревенские улицы и придеревенские дороги. По ним с большим риском застрять в грязи или поломать рессоры мы осторожно, съезжая с асфальтовых трасс, медленно подъезжали к заброшенным деревням. Я вспоминал при этом наши гужевые наезженные колеи, соединяющие колхозные деревни в тридцатые годы. По ним спокойно, в меру пыля, катились наши деревенские телеги и груженные возы. А теперь таких дорог нет. Теперь они превратились в изуродованные тракторными колесами и гусеницами широкие, чуть ли не в километр, полосы земли. На лошадях по такой дороге не проедешь. Да их и не стало больше в деревне. Редко увидишь теперь мужичка на подводе. Теперь тракторист домой, на обед и в местный магазин-сельпо под вывеской «Товары повседневного спроса» ездит на тракторах, а шоферы – на своих могучих «МАЗах» и «КРАЗах», а механизаторы из подвижных строительных колонн – на огромных автокранах иностранной фирмы «Като».

Такую дорогу или деревенскую улицу пешеходу в дождливый день перейти становится невозможным делом. Не въехать в деревню и на легковом автомобиле, хотя пути-то останется каких-нибудь 200—300 метров от магистрального шоссе. Именно в силу этой причины многие деревни в нашем российском Черноземье и Нечерноземье попали в разряд бесперспективных. Между прочим, среди них оказалось с конца 40-х годов знаменитое село Монастырщина на берегу Дона, в окрестностях Куликова поля. Но стоило накануне 600-летнего юбилея Куликовской битвы построить к ней однокилометровый асфальтированный подъезд, как старое село ожило.

В нашу деревню такой дороги не подвели. Тогда, в начале тридцатых в весеннее утро встречи мы с Мамой, приехавшие из Москвы, подъезжали к ней на подводе по аккуратно наезженным колеям крестьянского пути. Мы выехали из-за бас-тыевского пригорка и остановились, чтобы с него полюбоваться открывшейся нам картиной на противоположной стороне луга. Над деревней стояло бело-розовое облако цветущих садов, а полисадники перед окнами домов благоухали цветущими сиреневыми кустами.

Вдоволь наглядевшись на эту красоту, мы с трепетом от ожидания встречи и со страхом предстоящего спуска под гору, как бы не растрепала колхозная лошаденка нашу подводу, наконец спускались на дно луга. Оттуда деревни уже было не видно. Она внезапно скрылась от нашего взора за горой, на которую нам теперь предстояло подняться по длинному глинистому спуску. Лошаденка бойко избегала по нему, и мы, минуя ракитовую плотину Кренинского пруда, выезжали на наш левыкинский выгон. Деревня снова открылась перед нашими глазами.

Я очень хорошо помню свою деревню, всех ее обитателей в исторические годы колхозных пятилеток. Помню их дома, сады, огороды, имена и прозвища соседей и даже некоторые сокровенные тайны их житья-бытья. Я помню исчезнувшие названия сортов яблонь, груш и

слив в их садах и даже места, где они росли, так как самолично участвовал в ребячьих набегах на эти несчастные деревья, чудом донашивавшие свои прекрасные плоды до полного вызревания. В памяти моей даже оживают клички деревенских коров, лошадей и собак. Нашу корову, например, звали Рябкой. Она была большая, круторогая. И вымя у нее было большое. И молока вкусного она давала много. А у соседа Сергея Петрова была плюговая бодучая корова Бырдя. Другого имени ей придумать было невозможно. А лошади были даже с необыкновенными кличками: Гро-модар, Озериха, Волна, Волнушка, Оглоед, Пеганька. Вспоминаются даже и такие детали, как место расположения в сенцах у соседей кадушек с водой и квасом. В летнее время в любой дом можно было войти, повернув дверную щеколду, и утолить жажду даже в отсутствие хозяев.

* * *

Итак, из-под горы, мимо Кренинского пруда мы вышли на выгон. По левой его стороне протянулся ряд домов, составивших позднее выселки хозяев, выделившихся в начале века из основной исторической части деревни в результате семейных разделов. Этот ряд состоял из пяти домов. А направо от выгона, от нашей деревенской дороги ответвлялась дорога в упомянутую уже мной бывшую барскую деревню Кренино. Ле-выкинский выгон отделяла от Кренина длинная и глубокая канава и рубеж, по которому были давно-давно высажены ракиты. Стволы их в мое время были уже очень старыми, толстыми и невысокими. В верхней части они разрастались молодыми побегами. Среди этих зарослей мы обычно устраивали свои наблюдательные гнезда во время вечерних деревенских гуляний молодежи. С выгона каждый день ранним утром и после полудня выгоняли стеречь наше деревенское стадо и каждый вечер его здесь встречали. Примерно за час-полтора до встречи здесь собиралась вся подростковая молодежь, ребята и девчата. Начиналась общедеревенская игра в лапту. Играли с необыкновенным азартом. Были у нас и настоящие мастера этой игры. Они владели особой ловкостью подачи, особой силой удара по тугому, литому черному мячу. Но я еще помню, как играли в мяч самодельный, туго свалянный из коровьей шерсти. А другие игроки отличались необыкновенным умением ловить свечи и метко кидать мяч в бегущего из «города» по полю противника. Особенно эти ловкачи любили охотиться за девчатами, норовя попасть в них мячом в ту часть тела бегущей девушки, которая ниже поясицы. Особой ловкостью во всех упражнениях в этой игре владел наш деревенский вожак, мой тезка и непререкаемый авторитет Костик, сын нашего соседа Ильи Петровича.

Игра заканчивалась, как только из-за пруда на выгон выкатывалось стадо. Все разбирали свою скотину и расходились по домам. А вечером на выгоне начиналась уличка. Так называлось наше деревенское вечернее гулянье под гармошку или балалайку с танцами, песнями и прибаутками. Про них я расскажу особо после того, как вспомню всех наших деревенских жителей.

* * *

Ряд домов вдоль выгона начинался сразу от Кренинского пруда с хаты двоюродного брата моего Отца Гаврила Ильича Левыкина. Наверное, эта хата была одной из самых бедных в нашей деревне. В начале тридцатых годов ее хозяин был уже очень старым и больным. К нему я питал очень нежные чувства, так как всегда он привечал меня ласковыми словами и развлекал сказками. Я часто ходил к нему их слушать. И с тех пор помню бедную картину его жизни. В доме всегда было холодно, а еда в обед, к которому меня сажали, была всегда постной и скудной. Хата Гаврила Ильича и усадьба с огородом стояли на начинающемся от деревни склоне, и земля была серой и тощей. Дожди смывали с нее живородящий слой, и урожаи картошки на ней были малыми. Скудным было хозяйство у Дяди Гаврюши. Сам он был в памятное мне

время стар и немощен, а жена его Анна Ивановна была не то чтобы не работающей, а, скорее, неприспособленной к деревенской жизни. В молодости она жила в прислугах в городе и от крестьянской заботы и работы, наверное, успела отвыкнуть. Много времени у нее занимали деревенские пересуды. Она могла подолгу, например, засиживаться у нас или у других соседей. А старый ее супруг в это время ожидал ее на лавке в холодной хате. Я не склонен осуждать Анну Ивановну, так как ко мне она была очень добра, уважала и Маму мою, и Отца. Но хозяйкой она была все-таки нерадивой.

У Гаврила Ильича и Анны Ивановны было два сына – Дмитрий и Василий. Первого я никогда не видел. Он рано ушел из дома и практически с ним не имел никакой связи. В деревню не приезжал и отцу не помогал. Сам он устроился работать на железной дороге в Подмосковье. И слышал я, что накануне войны он работал на железнодорожной станции Болшево. А в годы войны был ее начальником.

Младшего сына, моего троюродного брата Василия, я знал хорошо. Он был сверстником моих старших братьев. Может быть, на два-три года постарше. Но учились они вместе в нашей бывшей приходской школе на Поповке. Ребята почему-то прозвали Ваську Наумом. Так всю жизнь чаще всего и называли его в нашей деревне. Характера он был балагуристого, в мать. Роста был высокого. Все затеи ребячьи шли от него.

Он в деревне стал и первым комсомольцем, и первым активистом новой колхозной жизни. Всю свою жизнь он прожил в деревне с перерывом на четыре года войны. Первым из своих сверстников он и женился, в восемнадцать лет. Я помню его шумную свадьбу. По дороге в свой дом с невестой он зашел к нам в дом. И моя Мама в укор за необдуманный шаг, помню, трепала его за уши, а он смеялся. Наверное, от своего счастья, которого не понимала моя мудрая Мама. Всю жизнь Наум с отцом и с матерью работали в колхозе и всю жизнь жили бедно. А из деревни, однако, не уходили, как это делали другие его сверстники и старший брат Дмитрий. Попытки уйти он предпринимал, но всякий раз быстро возвращался обратно в деревню. Первый брак был неудачным. Жена ушла, оставив ему сына. Женился вторично. Когда фронт подошел к деревне, ушел в Москву к брату Дмитрию и работал с ним на Ярославской железной дороге. На фронт не попал. Имел бронь. Но как только кончилась война, он сразу же вернулся в деревню. Соорудил на своей старой неудобной усадьбе домик наподобие полевого вагончика и прожил в нем до конца своих дней. По возвращении из Москвы стал первым послевоенным председателем колхоза «Красный путь». Вместе с другими односельчанами, вернувшимися из недалекой эвакуации, восстановил колхоз, который просуществовал до известного постановления об укрупнении хозяйств и был передан в структуру пригородного мценского совхоза «Волковский». К середине пятидесятых годов подросли дети – сын от первой и дочь от второй жены, которые устроили свою жизнь в городе Мценске, а отцовскую усадьбу теперь рассматривали как подсобное хозяйство, в котором отец и мать были бесплатной рабочей силой. Лет за десять до смерти Василий Гаврилович ослеп. Мне удалось повидать его в 1966 и 1982 годах во время кратковременных поездок в Орел. В последний приезд осенью 1982 года он удивил меня тем, что, будучи полностью слепым, узнал по голосу и меня, и сопровождавшего меня двоюродного брата моего – Александра Владимировича Ушакова.

Скажу в заключение о Василии Гавриловиче то, что он оказался почти единственным мужиком, сохранившим преданность своей родной деревне и земле. В эту землю он и ушел, когда жизнь его на ней закончилась. Почему он так поступил? Некоторые решили, что на другое он был неспособен. Но это неверно. Он освоил быстро железнодорожную профессию сцепщика и даже оказался на станции в числе передовых рабочих. Но как только закончилась война, его позвала к себе родная земля, и городские удобства не могли его удержать. Он вернулся к своему крестьянскому образу жизни. Его полевой вагончик и сегодня еще дымит своей печной трубой.

Таких людей в нашей русской деревне не так уж теперь много. Они долго кормили страну.

* * *

Хозяйкой следующего дома по левыкинскому выгону была женщина, которую в нашей деревне все называли ласковым именем Мариша. Почему ей оказывалось такое обращение, не знаю. Может быть, потому, что она и в почтенном возрасте оставалась красивой? Но красивой у нас в деревне была не она одна. Я вспоминаю ее женщиной еще и очень опрятно^ и строгой. Но счастья Бог ей не дал. Многие годы она была неизлечимо больна. Ударила, рассказывала, ее когда-то корова по ноге. И с тех пор ходила она, хромая, с забинтованной чистой холстиной ногой. Кто был ее первый муж, я не знаю. И в деревне про это ничего не говорили. Когда она овдовела, мне осталось тоже неизвестно. Остались с ней сиротами две девочки: старшая Катя и младшая, мне ровесница, Маня. Первая училась вместе с моей сестрой и была, как и мать, очень красива. Воздыхателей у нее было много. И среди них был мой двоюродный брат Семен Ушаков, будущий полный кавалер ордена Славы, танкист Великой Отечественной. Но Катя была необыкновенно гордой девушкой и никому в деревне не оставила никаких надежд. После окончания семилетки она уехала из деревни и в нее больше никогда не возвращалась. К старшей сестре потом уехала и младшая – Маня. И о ней я тоже ничего рассказать не могу.

А Мариша оставалась дома. Еще до отъезда дочерей приняла она во двор второго мужа. Станный это был мужик. Звали его Кузьмой, а вместо фамилии называли Купленным. Вроде как бы купила его для себя Мариша. А дядя Кузя не обижался. Прикидывался чудачком. Знал много прибауток.

Одну из них я запомнил. Она была сочинена им как эпиграмма на себя:

«Дядя Кузя – вошь на пузе,
А блоха на цепи
Кричит: „Кузя, отцепи”».

Откуда он пришел в нашу деревню, никто не знал. Но по хозяйству справлялся и дом держал в порядке. Рядом с домом Василия Гавриловича он был не так уж плох. И крыльцо у него было высокое. И внутри было все прибрано. И сад за домом был приличный. Работал дядя Кузя и в колхозе. Конюхом. И в лошадях знал толк. У него с Маришей родился сын, года на два помоложе меня. Звали его Гришкой. Но, как и у отца, у него было свое деревенское прозвище – Апишан. Мальчик когда-то так произносил слово «обезьяна». Так и остался он Апишаном, пока не ушел на войну. Малышом он был неотлучен с отцом и с колхозными лошадьми. Верхов на них ездил так, как, кроме него, никто не умел: и на бочку, и обыкновенно, и стоя, и задом наперед, и рысью, и галопом. Мне приходилось гонять с ним колхозный табун в ночное. Трудно и опасно было мне ехать с ним рядом. Моя лошадь норовила не отстать от него и неслась за ним вскачь, Я рисковал слететь с нее вниз головой. Апишан это видел и спуску мне не давал. Ему, наверное, нравилось чувствовать свое превосходство надо мной, городским чистоплюем.

К концу войны Апишан вырос и был призван на фронт. С него он не вернулся. Так и не досталось ему радости, кроме той, которую мог дать ему дядя Кузя.

Сам же Кузьма Купленный с Маришей пережили оккупацию. У немцев он не служил и честь свою не запятнал. Когда они с Маришей померли, не знаю. Усадьба их так и осталась без хозяина. И сад погиб, и дом сгорел.

* * *

Дальше за усадьбой Мариши и Купленного стоял двор моего родного дяди, брата моего Отца – Бориса Ивановича Левыки-на. Здесь он обосновался после раздела с братьями. Рассказ

о нем, о его сыновьях и дочерях будет особый. А сейчас мы, мысленно поприветствовав своего родственника, пройдем дальше, к дому нашего деревенского кузнеца Михаила Афанасьевича Левыкина. Перед его усадьбой две высокие и уже довольно старые ракиты. Хозяин устраивал на этих ракитах качели и позволял ими пользоваться всей деревенской детворе. Качался подолгу на них и я. Может быть, поэтому меня никогда не подводил мой вестибулярный аппарат. Качели были высокие, и мне кажется, что иногда случалось взлететь на них выше самих ракит и даже выше крыши дома хозяина. Наверное, насчет вестибулярного аппарата я преувеличил. Но зато с тех детских качелей я хорошо запомнил и дом Михаила Афанасьевича, и всю его большую семью, и нашу деревенскую кузню.

Сам кузнец не был похож на обычного крестьянина, так как труд у него был особый. Его орудиями были не плуг, не коса и не серп, а молот и наковальня.

Поэтому Михаил Афанасьевич выглядел больше рабочим человеком. Этому виду соответствовали и внешность, и речь, и манеры поведения. Профессию свою он унаследовал от отца, а тот, в свою очередь, наверное, продолжил ее от своих родителей. Я помню, что до образования колхоза кузня принадлежала лично Михаилу Афанасьевичу и располагалась на его усадьбе, за домом, в саду. Только потом руководство колхоза, обобществив его труд, место работы кузнеца перевело в общественный амбар на выгоне.

Дом кузнеца тоже отличался от соседских. Он был поставлен на фундаменте с высоким крыльцом-террасой. Внутри перегородками дом делился на горницу, две спальни и кухню. Типовой оставалась крестьянская русская печь. Населяла дом большая семья. Первая жена кузнеца оставила ему шестерых детей – трех сыновей и трех дочерей. Она умерла внезапно от заворота кишек. Дом остался без хозяйки, а дети – без матери. И пришлось Михаилу Афанасьевичу жениться второй раз. Новую жену он сосватал в соседней деревне Лопашино. Мать ее прозвали в той деревне Сосихой. Новая жена ни хорошей хозяйкой, ни матерью детям не стала, но типичной мачехой оказалась. К шестерым пасынкам и падчерицам она родила Михаилу Афанасьевичу четвертую дочь.

Его старшую дочь звали Анной. Говорю «звали», так как не знаю, жива ли она сейчас. По моим предположениям, ей теперь могло бы быть уже и за восемьдесят. Она была ровесницей моих старших братьев. Эту дочь можно представить просто: она была красавицей. Описать ее красоту я не могу, так как очень много времени прошло с тех пор, когда, глядя на эту девушку, я впервые оказался способен воспринять само понятие женской красоты. Вообще-то, у кузнеца все дети были красивы.

Но Нюра была красавицей и среди них, и во всей деревне. На ее красоту, как мне тогда казалось, можно было любоваться только тайно, из укрытия. Ближе подойти было нельзя, потому что перед ней не оставалось никаких шансов сохранить спокойствие и скрыть смущение и растерянность от своей собственной заурядности. Не случайно, наверное, женихов для Нюры не только в нашей деревне, но и во всей округе не оказалось. Но не этот, конечно, факт, стал причиной ее отъезда из деревни в Москву. Жизнь складывалась так, что надо было искать счастья на стороне. Семья, несмотря на уникальность профессии отца и высокое его мастерство, жила бедно. В условиях обобществленного труда профессиональное мастерство и даже высокая производительность не могли реализоваться в личный капитал или богатство. Жизнь в это время равняла всех трудоднем. А этим трудоднем, увы, накормить такую семью, какая была у кузнеца, было невозможно. Нюра из отцовского дома, да и из деревни, ушла от бедности. Казалось, что ее красота будет недоступна человеку обыкновенному. А вышло наоборот. В Москве замуж она вышла за какого-то плешивого альфонса не первой молодости и не первой женитьбы. Приезжал он с Нюрой раза два в деревню. По-моему, наша деревенская общественность признала в нем проходимца. Жизнь у старшей дочери кузнеца Анны Михайловны сложилась весьма-весьма заурядная, красота ей счастья не принесла. С деревней и с отцом связь она утратила еще перед войной.

Следующим по возрасту шел сын Григорий. Он тоже довольно скоро вслед за старшей сестрой уехал в Москву и всю жизнь с перерывом на войну проработал в столичном такси. Но в памяти моей еще сохранились эпизоды работы этого молодого и тоже красивого парня с отцом в кузне. Роста он был невысокого, с пышной темно-русой шевелюрой, с лицом живым и выразительным. Большой физической силы в нем не было видно, но молотом он работал легко и ловко. Он мог бы заменить отца у наковальни, но предпочел московское такси. Здесь он тоже оказался приметным. Несколько раз мои знакомые и знакомые моих братьев спрашивали нас, а не нашим ли родственником является симпатичный шофер-таксист по фамилии Левыкин, которому они оказывались пассажирами. Самому же мне встретиться с Григорием Михайловичем не привелось. Что же касается вопроса о наших, возможно, родственных отношениях с семьей Михаила Афанасьевича, то он остается неясным, так же как это неясно и в отношении к другим соседям. Но, однако, скажу, что моя Мама была крестной матерью младшего сына кузнеца. Должен заметить, что по кумовству моя Мама занимала в деревне одно из первых мест. Она крестила и в Кренине, и в Левыкине.

После отъезда в Москву старших Анны и Григория остальные дети Михаила Афанасьевича оставались с ним в деревне довольно долго. На следующую по старшинству дочь Соню легли обязанности матери по отношению к младшим и домработницы по отношению к мачехе. При этом она должна была работать в колхозе. Поэтому Соне пришлось разделить судьбу Золушки, и отцовскую породу в ней разглядеть было труднее. Тяжелая работа и забота не крадут женщину. И тем не менее ее звездный час должен был пробить, и добрая фея вернула ей все наследственные стати. За счастьем своим она также уехала в Москву.

В тот воображаемый день моей встречи на выгоне в доме Михаила Афанасьевича оставались трое детей от первого брака и уже подрастала младшая от второго. Теперь молотобойцем с ним в кузне работал Сергей, а в роли Золушки выступала Маня. На попечении младшего сына Кольки была домашняя скотина. Но и он уже время от времени приноравливался к кузнечному делу.

Сергей на глазах у соседей как-то вдруг превратился в бо-гатыря-молотобойца. Рядом с ним в кузнице, у наковальни отец Михаил Афанасьевич выглядел щупленьким мужичком, которого, казалось бы, богатырь-сын незначай, ненароком, от силушки молодецкой мог задеть своей кувалдой. Кузнец все время двигался под ней. Он одной левой рукой в щипцах держал поковку, а правой легко позвякивал молоточком. Раз-два по наковальне, раз по поковке, по тому месту, куда молотобоец должен был, как по приказу, обрушить свой тяжелый молот.

А левой рукой он то и дело поворачивал поковку, подставляя под удар нужную сторону. Весело ковали кузнецы – отец и сын. Я не видел, долго наблюдая это соревнование мастеров, чтобы сын-молотобоец ударил не по тому месту или просто промахнулся. На глазах моих кусок железа превращается в подкову. Мастер окунал ее в бочку с водой, а оттуда не глядя точно отбрасывал ее в ящик с песком.

Все это я помню в подробностях потому, что мои друзья и я с ними подолгу крутились возле кузни, когда из нее раздавался веселый кузнечный перезвон. Иногда нам разрешали крутить вентиляционное колесо, раздувающее огонь в горне. Михаил Афанасьевич разрешал нам и покузнечить. А иногда нам удавалось пробраться в кузню, когда в ней отсутствовал хозяин. Тогда мы раздували загасавший горн, разогревали в нем какую-нибудь железяку и усердно начинали ее ковать, повторяя запомнившиеся движения мастеров. Кузнец иногда заставлял нас за этим занятием, но никогда не наказывал, если мы не совершали каких-либо опасных действий. Понимал старик, что нельзя человеку запрещать учиться труду и ремеслу. Никто из нас кузнецом не стал, но добровольные уроки в кузне нам запомнились на всю жизнь. Запомнился мне и добрый человек – кузнец Михаил Афанасьевич.

Кузнечное ремесло мог унаследовать у него его младший сын Николай. Он стал приноравляться к этому делу, еще когда старший брат Сергей не уезжал из деревни. При нем Колька

еще не готов был принять эстафету. Он был моим ровесником. А в наших кузнечных забавах он участвовал непременно, уже как консультант. Странной кличкой наградила его родной отец – Францем. Может быть, это было результатом его представления о каком-то образе недеревенского и даже нерусского изящного в своих манерах человека, которому соответствовала детская внешность его сына Кольки. Глядя на него, невозможно было подумать, что он мог бы стать заменой своему старшему брату-молотобойцу. Худенький он был, легонький какой-то, совсем не по-деревенски, мальчик. Впрочем, может быть, это изящество объяснялось сиротской его судьбой. Просто недокормлен он был и не обласкан мачехой вместе со своей, на год младше, сестрой Маней. Им больше, чем старшим братьям и сестрам, пришлось испытать эту горькую долю. Все старшие уехали в Москву, а за них теперь и заступиться было некому. У мачехи родилась своя дочь. И Мане с Колькою добавились обязанности нянек. Не могу сказать, что отец не жалел их. Жалел, но изменить в доме ничего не мог. Ситуация-то сложилась обычная: мачеха оказалась сибаритствующей кормящей матерью, отец выколачивал молотком трудодни, на которые надо было кормить семью. А Мане и Кольке доставалось все остальное – не очень радостное, не очень теплое и не очень сытое.

Но Колька-Франц все-таки мог бы быть кузнецом. Стань он мастером, нашел бы себе молотобойца.

Молоточком-то он уже научился бить и по наковальне, и по поковкам, и в отцовском инструментарии разбирался, и порядок его применения знал. Но из безрадостного сиротского детства Колька-Франц ушел не в Москву, а на войну и оттуда не вернулся. Так и не суждено было ему стать кузнецом. Погиб на фронте и его брат-богатырь Сергей. В войну умер и сам кузнец Михаил Афанасьевич Левыкин. На нашем выгоне не осталось ни его дома, ни его кузни. Только по уцелевшим раkitам можно теперь определить место, где когда-то шумели вечерами наши деревенские улицы.

* * *

Проходя мимо дома Михаила Афанасьевича в то памятное утро приезда в Левыкино, мы не задержались около него. Хозяин уже звякал молотком в кузне, а домашних не было видно ни на крыльце, ни в окнах. А у следующего дома останавливаться не хотелось вовсе. Несимпатичные здесь жили люди. Однако рассказать и о них надо.

Это был двор Егора Ивановича Левыкина, одного из трех братьев, которых в деревне называли Балыгами. Никто в деревне не мог объяснить значение этого слова. Но к трем братьям – Илье Ивановичу, Егору Ивановичу и Поликарпу Ивановичу оно прилипло прочно и звучанием своим, кажется, соответствовало особенностям их характера. Мне всегда казалось, что балыги – это люди, которые, по современным понятиям, неуважительно относятся к общим правилам поведения. Именно этим и отличались братья-балыги. Если бы тогда в деревне было в ходу слово хулиган, правонарушитель, то, может быть, в отношении к ним обошлись бы этим определением. Но не в ходу были такие слова. Да и не было у нас в деревне хулиганов и правонарушителей в современном понимании. А вот балыги были. Все трое характер поведения имели неукротимый и даже буйный. Но, как правило, они буйствовали в семье, а если и на улице, то только около своего дома и по отношению к своим женам, детям, к своему собственному имуществу. Но этого было достаточно, чтобы соседи их побаивались, особенно тогда, когда они находятся во хмелю. Бывало это чаще, чем у других, а следовательно, и чаще приходилось переживать похмелье. А отсюда вид у братьев чаще, чем у других, был хмурым, басурманским и опасным. Разбойниками они не были, но, случалось, вид имели разбойный. Вот я, как и, впрочем, и другие, решил, что они и есть балыги. Однажды я все-таки попытался узнать более точное значение этого слова. Конечно, обратился к известным словарям. Но ничего не нашел. Нет в них слова «балы-га». У Даля, однако, есть слово «балы» – пустые разговоры и про-

изводные от него «балазничать» или «балязничать». Иначе говоря, точить балясы или балясничать. Что и означало вести пустые разговоры. Весьма вероятно, что глагол «балызничать» мог у нас произноситься – «балыжничать». А отсюда могло и появиться слово «балыга». Но тогда какое отношение оно могло иметь к нашим неукротимого нрава соседям? Может быть, эта кличка предназначена была не им, а их предку? Все три брата при крутом нраве были трудолюбивы. Это у них отнять было нельзя. Да и в неукротимости они были неодинаковы. Одного из них, например, очень легко и быстро укрощала моя Мама. Но о каждом из братьев я расскажу по порядку.

Итак, мы проходим мимо дома и подворья Егора Ивановича Левыкина. Сам хозяин давно уже помер. Теперь им был его сын Василий Егоров.

Жену его звали Анисья. Была она некрасивая, мужу покорная и работающая. С деревенскими своими подругами и соседками была она дружна, была такой же как и они песенницей. Говорили, что за свою невесту-вековуху Василий Егоров получил богатое приданое. В семье у них был один сын. Он был мне ровесник. Имя у него было Валентин, а звали его среди сверстников Амосей. Врагами мы с ним не были, но и друзьями тоже.

Впрочем, и другие ребята не дружили с ним. Рос он этаким индивидуумом, увальнем. Но, видимо, несправедливы к нему мы были из-за негативного отношения к отцу. На войне Амося выполнил честно свой солдатский долг и вернулся с нее, отмеченный боевыми наградами. С отцом жить не стал и поселился во Мценске.

Тогда, в тридцатых, еще жили в доме Егора Ивановича его дочери – сестры Василия Егорова – Параша и Нюра, а старшую Евдокию брат выдал замуж за кренинского мужика – деревенского ловеласа – Ивана Сергеевича Панова. Оставшиеся незамужние сестры не ужились с братом. Они одна за другой уехали в Москву.

Что еще сказать про Василия Егорова? Был он человеком беспричинно злым. Говорил присвистывая. Соседом был недобрым. В дом к нему соседи были не вхожи, хотя гостей – богатых родственников Анисьи-принимал охотно. В колхозе работал исправно. Физически был силен.

Я в доме Василия Егорова никогда не был. Но в сад его лазил. Был у него заветный белый налив. Этот бдительно охраняемый запретный плод был настолько не похож на все остальные деревенские белые наливки, что мы, несмотря на страшную опасность быть жестоко наказанными, все-таки ухитрялись совершать свои набеги и в этот сад. Делалось это по команде нашего вождя Костика, сына Ильи Петрова. Он давал нам команду на штурм, когда хозяин выходил вечером перед сном на улицу к кузне. Он садился на бесколесную, ремонтируемую в кузне телегу и вместе с другими мужиками, куря самокрутку, наблюдал за танцующей молодежью. Мы же в это время, получив команду, шуровали у несчастной яблони и, нагрузившись за пазуху вдоволь, возвращались к кузне с докладом и трофеями к своему предводителю. Он откладывал балалайку и начинал угощать всех васьегоровым белым наливом, в том числе и самого хозяина. Мы были довольны. Но если бы хозяин застал нас на месте нашего ребячьего преступления, нам бы несдобровать. Бил он, чем попадая и не глядя. Совсем это был не смешной человек. Не случайно с ним не ужился единственный сын. Совсем страшная история произошла с ним после войны, в середине пятидесятых годов.

Однажды Василий Егоров пригласил в товарищи на бутылку знакомого мужика из соседней деревни Лихановка. Пригласил и убил. Забрал у убитого 15 или 20 рублей, а труп расчленил и закопал. Скрываться не стал. Преступление было раскрыто быстро. Был суд. Преступника признали психически больным и отправили на излечение. По излечении и раньше приговорного срока наказания вернулся в свой дом. Привел новую жену и прожил с ней до своей смерти.

Не был Василий Егоров ни бандитом, ни разбойником, ни даже хулиганом. А жила в нем какая-то злая червоточина, которая всю жизнь раздражала его психическое состояние,

вызывая грубые и жестокие поступки и беспричинную озлобленность. Может быть, его надо было серьезно лечить? Но кто это знал?

* * *

Наконец, наши деревенские выселки вдоль выгона закончились, и мы подошли к историческому центру нашей деревни, к ее детинцу. Наверное, об этой части Левыкинской деревни, как поместье служилого человека Дмитрия Субочева, и шла речь в отказной грамоте 25 дня июня лета 1634.

С этого места к родному дому я уже спешил нетерпеливо. Вот-вот должна была состояться моя встреча с друзьями, которые меня в то утро и не ждали. Да и сейчас, когда я пишу эти строки, ко мне снова возвратилось это чувство волнительного нетерпения от скорой встречи с моей исчезнувшей родиной.

Я уже отмечал, что предки мои не случайно выбрали это место для поселения. Приоритет тогда отдавался не удобствам жизни, а потребностям несения боевой сторожевой службы. Деревню они, говоря по-военному, поставили на «господствующей высоте». Отсюда обзор в летнюю солнечную пору по горизонту был километров на десять-двенадцать. Я, например, в такую пору разглядывал наши деревенские ориентиры: церковь и вековые липы (и клены с противоположной высокой точки над местностью с горы перед деревней Толмачево, с хутора моего дяди Василия Ильича, который стоял аж за городом Мценском. Расстояние между этими точками было более десяти километров. Для обеспечения обороны сторожевого поста здесь были когда-то произведены необходимые фортификационные работы.

Может быть, тогда, в дальние времена деревня выглядела как небольшая земляная крепостца. По южной окраине от дикого поля ее оберегали засека и ров, а с тыла была сделана земляная насыпь. Она была обвалована и обкопана глубокой канавой. Въезд в это оборонительное сооружение был с тыла в северной части через въездные ворота и глубокий проулок. Этот проулок можно угадать даже сейчас. А в тот день, когда мы с Мамой вновь встречались с летней деревней, этот проулок как преграду нам еще предстояло преодолеть. Он разрезал центр деревни на левую и правую стороны. Справа от него, на возвышенности стояла усадьба Павла Семеновича Левыкина, а слева – сад брата моего Деда Ильи Стефановича Левыкина. Его на моей памяти называли дядей Илюшей. Я помню еще живым этого древнего старика. Сад у него был хороший, но уже очень старый. И очень старый и убогий у него был домишко. Стоял он перед садом по другую сторону дороги, поворачивающей перед центральным проулком налево в объезд деревни. Около дома дяди Илюши рос когда-то могучий клен. Я помню его золотые и багровые листья в пору осеннего цветения. За кленом стояла рига. А самого дядю Илюшу я все больше помню лежащим на печке, даже летом. Тепла ему тогда, видимо, уже не хватало. В молодости он был и высок, и приятен на вид. Об этом можно было догадываться и по выразительным чертам лица с живыми глазами, высоким лбом и широкой окладистой бородой. Но тогда с печи на меня глядел немощный человек, бормочущий какие-то непонятные мне слова. Иногда он все-таки слезал с печи, и я его начинал побаиваться. А он, обращаясь к дочерям и жене, бормотал: «Гля-ка, девка, гля-ка».

Жена дяди Илюши Татьяна Ивановна, или просто тетка Илюшина, была его моложе и жива еще была перед войной. На своих плечах она вынесла основную часть забот о своих дочерях и внуках. Дочерей своих Аграфену и Анну она вырастила здоровыми и красивыми. Они были ее радостью. С ними тетка Илюшина пережила и много лиха. Не выпало им обоим счастья. А впрочем, как знать?

Старшая – Аграфена, или Груня, а то и Грушатка, была и красива, и бедова, и, как сейчас говорят, необыкновенно сексуально-привлекательна. Мужики не могли сдержать своих вожделенных взглядов, когда она своей походкой проходила

З 1798 мимо них. Ну а когда Грушатка шла с молотбы с другими женщинами искупаться на пруд, то немногие сдерживались от соблазна полюбоваться ею из-за кустов. А жены их всегда были полны всяческих предположений. И был или не был какой грех, судили ее без всякого снисхождения на молодость и красоту. А красота ее, да и любовь обернулись против нее самой одинокой безмужней жизнью.

Первая любовь восемнадцатилетней Груни, быстро вспыхнув, так же быстро и погасла. Она превратилась в обычную бытовую драму.

Полюбил ее молодой красноармеец из части, стоявшей после Гражданской войны то ли во Мценске, то ли где-то в другом месте, недалеко от нашей деревни. Наверное, ходил солдат на левыкинские вечеринки. Звали его Никитой. А родом, говорят, он был откуда-то из-под Курска. Завлекла его Грунина красота, и посватал он ее за себя, как только пришла пора демобилизации. Посватал и увез к себе, в свою курскую деревню. Очень мало после этого прошло времени, и вдруг вернулась девушка восвояси, в отцовский дом. Не ужилась в чужой деревне, с чужой родней. А вернулась-то уже не просто так, а с приплодом в подоле. Родила она от Никиты дочь Зинаиду. С тех пор и не видела она Никиту, и Зине не привелось даже посмотреть на своего отца. Забот прибавилось бабке Татьяне Ивановне. А Груша стала еще краше. Ее ждала новая любовь. Но если первая окончилась драмой, то вторая – трагедией.

Ухажеров у молодой разведенной женщины теперь стало намного больше. А допустила она к себе одного. Полюбился ей сын нашего соседа, Ивана Митриева, Поликан. За их любовью со злой ревностью следил кренинский Мишка Панов, парень жуликоватый и подлый, внешностью своей отвратительный, какой-то корявый и грязный. Выследил однажды влюбленную пару злодей и подло в спину пырнул Поликана ножом. Да и попал прямо в сердце. Страшная эта трагедия произошла в деревне давно. И после нее ничего подобного у нас не случалось. Поликана похоронили. Злодей Мишка Панов сбежал от возмездия. А виновницей случившегося на всю память у родственников и соседей о ее несчастном возлюбленном осталась Грушатка. Долго попрекали ее за эту смерть. Воспоминания о ней грели против нее злую неприязнь, выдаваемую за чувство жалости и печали по убиенному Поликану.

А жизнь брала свое, и чары Аграфены по-прежнему будоражили желания деревенских воздыхателей. Влюбился в нее другой женатый парень из деревни Кренино, Ванька Зенин. Тайну влюбленные сохранить не могли. Виновницу неотступно преследовала Ванькина жена. Сцены ревности одна за одной возникали на улице, у колодца, в поле. В доме дяди Илюши вдребезги разбивались стекла. Бывало, что преследовательница заставляла их на месте греховных занятий. Но любовь делала свое дело. Наконец, Ванькины родственники отправили его с семьей в далекое украинское Каменское на Днепре. Это село тогда вырастало в большой промышленный город, получивший название Днепродзержинск. Я не исключаю, что и сам Иван Зенин в этом отъезде видел возможность убежать от неукротимой любви. А она оживала всякий раз, как только он возвращался в деревню на короткие отпускные побывки. Все начиналось сначала. В запретной любви родилась у Грушатки вторая дочка, Рая.

Только война окончательно прервала горький роман Груни и горемычного Ваньки Зенина. А дочери ее выросли на радость и утеху матери в ее старости. Их помогали ей растить бабушка Татьяна Ивановна и младшая сестра Анна, пока сама она не вышла замуж. А Груня перед неудачами не сдалась. Она всю жизнь сохраняла и свою красоту, и бедовость, и веселье в работе. Односельчане в течение не менее двадцати лет избирали ее своим депутатом в наш Кренинский сельский совет. А накануне войны и по ее окончании она была председателем Совета.

Помнится, как-то после войны она обратилась ко мне с просьбой сочинить письмо-заявление в Верховный Совет РСФСР с просьбой об установлении ей персональной пенсии в связи с многолетней работой в составе Кренинского сельсовета. Я узнал тогда, что она избиралась и в состав Мценского Совета. Но на это заявление Груня ответа не получила, и, таким обра-

зом, законными льготами она не воспользовалась. Видимо, не поверили чиновники ее письму. А проверить не удосужились. Мало ли таких Аграфен было в наших колхозных российских деревнях!

Конец жизни, уже после войны, она провела в Москве у своих дочерей. Первой здесь обосновалась старшая, Зина. В этом приняли участие мои родители. Они помогли Зине устроиться на работу и в общежитие. А дальше Зина всего добилась сама. В сорок первом она добровольцем ушла на фронт. Всю войну, до Берлина прошла связисткой. С Победой и наградами вернулась в довоенное общежитие. Нашла свое счастье. Вышла замуж, получила квартиру и взяла к себе из деревни на попечение мать и младшую сестру.

У младшей сестры Аграфены, Анны Ильиничны, вышла иная судьба и сложилась иная жизнь. В отличие от своей бедовой и любвеобильной старшей сестры Нюра была «тиха, скромна и молчалива». Простая деревенская девушка, она была человеком удивительно романтической натуры. Не случайно в нашем деревенском театре, в спектакле, который был поставлен в колхозном Народном доме, ей поручили роль несчастной, обманутой в любви девушки. Я до сих пор помню трогательную сцену этого спектакля, в которой Нюра искренне переживала свою роль покинутой соблазнителем молодой матери. Она сидела на сцене у колыбели и пела знакомую с детства всем присутствующим песню младенцу. Ее чувства были настолько искренними, что наш неискушенный и до того не знающий театра деревенский зритель, особенно женщины, вместе с ней утирали слезы.

У Нюры были не просто голубые глаза, а очень голубые глаза, как ясное июньское небо. Они не потускнели и в старости, несмотря на трудную жизнь.

Молодой, еще незамужней девушкой Нюра запомнилась мне в день нашего приезда в деревню в 1936 году. В тот год она вышла замуж за очень несимпатичного мне Ваську Шабана из деревни Ушаково. О его старшем брате сложилась у нас нехорошая репутация. Может быть, она тенью легла и на него. Но и сам он был уж очень груб и хамоват. Но внешности он был привлекательной. Скажу даже, был Васька красив. Вот и полюбила его наша Нюра. А однажды, еще до их женитьбы я оказался свидетелем их любви. Было это в один из летних дней, на нашем колхозном току, во время молотбы. В тот час в работе был обеденный перерыв. Все разошлись по домам. А Нюра оставалась на току сторожем. Наша ребячья ватага осталась с ней помогать сторожить вороха намолоченного зерна. И вдруг к нам появился Васька Шабан. И тут затеялась какая-то игра в свалку на соломе. Он тискал и мял нашу Нюру. И нам было весело. Но она вдруг вырвалась и побежала от него за одонком. Васька за ней. Мы тоже побежали. Нюра скрылась с Васькой за одонком. А я был первым бежавшим за ними. Когда я тоже завернул за одонок, то увидел то, чего никогда еще не видел. Васька, как мне показалось, грубо и непреклонно терзал бедную распластанную Нюру. Я хотел закричать. Но вдруг увидел, что она не сопротивлялась. Она покорно и только виновато смотрела на меня своими необыкновенно голубыми глазами. В них был и испуг, и боль, и смущение, и еще что-то непонятное мне. Так ничего и не поняв, я быстро убежал от них. Только много лет спустя я, наконец, догадался, что тогда произошло. А Нюра в то лето вышла за Ваську замуж. Это не изменило во мне антипатии к нему. Хотел было здесь употребить известную нашу пословицу: «Любовь зла...» Но вдруг опять понял, что был я неправ. Полюбила-то Нюра красавца. И только ей было знать цену своего возлюбленного. Двоих дочерей родила она с Васькой. И прожила бы с ним счастливо всю жизнь, не случись несчастья. Умер ее возлюбленный муж от наследственной скоротечной чахотки.

Рано овдовев, Нюра растила дочек одна. С ними пережила и лихую военную пору. После нее снова работала в колхозе. Когда дочки подросли, отправила их в Москву к племянницам. А сама оставалась в деревне. Жила в землянке, а потом соорудила домик. Когда дочки вышли замуж, то на лето привозили ей внуков. А зятя помогли ей построить новую избу из старых железнодорожных шпал. Обустроилась она тогда не на старом родовом месте, а на выгоне, на месте бывшей усадьбы моего дяди Бориса Ивановича. Когда жившая еще тогда моя тетка Елена

Васильевна, бывшая хозяйка этой усадьбы, узнала об этом в Москве, то искренне возмущалась ее самоуправством. Чувство собственности в ней так и не угасло.

В 1966 году я посетил родные места. Вместе со своим сыном я прошел пешком через луг, поднялся на Поповку, постоял на погосте у родных могил и оттуда через деревню Кре-нино вышел на наш левыкинский выгон. Было еще утро. Ясное сентябрьское наше деревенское утро. И я сразу оказался перед домом Анны Ильиничны. Нас с сыном сопровождал мой дво-юродный брат Александр Владимирович Ушаков. Он специально приехал из Орла и встретил нас во Мценске. Теперь он был подполковником, а когда-то в юности он ухаживал за Нью-рой. Они были ровесники. И вот теперь она стояла перед нами старенькая, но с теми же небесно-голубыми и удивительно радостными глазами от неожиданной встречи. Мой брат-подполков-ник с откровенным намеком на свое превосходство и удачу в жизни пошутил, глядя на свою бывшую ухажерку. «Вот видишь,— проговорил он,— а ведь я предлагал тебе выходить за меня. Не захотела! Выбрала себе Шабана!»

На эту бестактную шутку Ньюра не обиделась и с улыбкой ответила: «Такая уж у меня была судьба!» Она ни о чем не жалела.

* * *

Я далеко ушел в своих воспоминаниях о Ньюре с того времени и места, когда в далеком тридцать девятом я встретил ее летним утром, идя со станции в день приезда из Москвы. Тогда сестры Илюшины вместе с матерью Татьяной Ивановной строили себе новый дом в своем старом саду. А до того, как он был готов, они с разрешения моих родителей жили в нашем пустующем доме.

Деревенская дорога в том месте, где мы встретили нашу Ньюру, перед проулком уходила влево. Между усадьбой Егора Ивановича вдоль его вишен по канавам слева и вдоль сада дяди Илюши она выходила на небольшую поляну, бывшую когда-то выгоном небольшого поместья мелкого помещика Фурсова. Мой рассказ об этом поместье будет связан с историей жизни двух братьев моего Отца. Сейчас я туда не пойду. Да и в 1939 году моя родня там уже не жила. Что было с ней, я расскажу особо. А тогда я спешил к моим друзьям. Они меня не ждали, а я очень спешил их увидеть.

Но прежде чем мы с Мамой ступили в сырой после дождя проулок, нас задержала встреча с обитателями усадьбы Павла Семеновича Левыкина, которая стояла на возвышении, справа от него. За этой усадьбой, сзади, через канаву уже начинался наш двор.

Семья Павла Семеновича была большая. Я, к сожалению, не помню его жены, но детей помню всех. Сыновей было четверо: Василий, Алексей, Николай и Иван. А дочерей двое: Вар-вара и Анна. Все они в начале тридцатых годов были уже взрослыми людьми. Все добровольно вступили в колхоз и добросовестно с отцом трудились в нем. В период коллективизации и раскулачивания все-таки какая-то частичная репрессия коснулась этой семьи. Хозяйство было признано зажиточным. Однако оно если и отличалось от других хозяйств, то только количе-ством здоровых и крепких сыновей и дочерей, которые умели работать не покладая рук. Глава семьи был угрюм, несловоохотлив и суров и по отношению к детям, и к колхозу, и к себе. Суро-вость и угрюмый нрав Павла Семеновича были причиной несправедливой неприязни к нему со стороны особенно так называемых деревенских низов. Это была реакция на удачливость тру-долюбивого хозяина. Проще я бы это назвал завистью. Наверное, это в конце концов и привело к частичным репрессивным мерам по отношению к собственности Павла Семеновича. У него кроме обобществления лошадей отобрали еще и амбар. Это нехитрое сооружение, по решению правления колхоза, передвинули на выгон и разместили в нем колхозную кузню. Конечно, это обидело хозяина и его сыновей. Они как-то незаметно один за одним стали уходить из деревни.

Дольше всех задержались в ней отец с двумя дочерьми и младший сын Иван. Последний мне запомнился более всех. Он дружил с моими братьями и часто бывал в нашем доме.

Они вместе учились. Их связывали и общие увлечения, и всяческие деревенские проделки. Ребята почему-то почтительно величали друга по имени и отчеству – Иваном Павловичем. Он был заикой, но его физический недостаток как-то подчеркивал добрые качества этого парня. Он не вызывал ни недобрых насмешек, ни снисходительного сочувствия. Казалось, что Иван Павлович заикался как-то легко и весело. Это как бы усиливало, подчеркивало его оптимистическую натуру. Такой же общительной и веселой была и его старшая сестра Варвара. И она тоже заикалась. А младшая сестра Анна была потише, понезаметнее и поскромнее.

Все дети у Павла Семеновича были трудолюбивы. Большую пользу они могли бы принести своему колхозу. Но не удержал он их своими перспективами. И ушли они, бросив и дом, и сад свой, в котором, я помню, тоже был заветный белый налив, тоже предмет наших набегов. В эту вспоминаемую весну сад на усадьбе Павла Семеновича цвел без хозяев. Цвел буйным цветом, обещая щедрый урожай. А окна дома были забиты крест-накрест досками. Некому было в это лето караулить сад и тот заветный палсеменовский белый налив. Мне кажется, что в то лето мы оставили его в покое. Было не интересно нападать на беззащитное дерево.

Не с кем было поздороваться возле брошенного дома. Оглядывая усадьбу в надежде все-таки кого-нибудь увидеть, я вдруг обратил внимание на остатки сгоревшего флигелька, примыкавшего к скотному двору. В нем жила странная старуха Яклиха. Кем она доводилась Павлу Семеновичу, я не знаю. Не знаю я и ее имени. Все звали ее Яклихой по отчеству (Яковлевна). Была она очень стара. При жизни ее мы, малые ребята, очень боялись встреч с ней. Она была неухожена, немыта и нечесана и, пытаясь говорить, издавала какие-то нечленораздельные звуки. Помню, что все это нас пугало, будто бы мы встретились с Бабой-ягой.

Павел Семенович не обнаруживал к ней какой-либо чуткости. А родственницей какой-то она ему все-таки была. Может быть, даже тещей. Прошедшей перед нашим приездом зимой Яклиха сгорела в своем флигельке. Пожар по неизвестной причине произошел ночью, и потушить его не успели, да и нечем было его тушить. Старуха сгорела, и никто не пожалел и не поплакал над ее гробом. Унесла она с собой свою тайну. Говорили, однако, что в молодости Яклиха была известной красавицей, любви и расположения которой добивались благородные мужчины из мценского уездного дворянского общества. Но как она в конце концов оказалась во флигеле около скотного двора? Почему жизнь так изуродовала ее красоту? Почему так равнодушны были к ней ее близкие? Сейчас ответить на эти вопросы некому.

* * *

Совсем не длинная была деревенская дорога вдоль выгона. Всего каких-нибудь двести метров от Кренинского пруда до дома Павла Семеновича Левыкина, который в начале проулка стоял как сторожевой пост при входе в исторический центр деревни. Не длинна дорога, а пройти ее быстро было невозможно. Во-первых, потому, что Мама в отличие от меня не торопилась. Цель наша была уже очень близка, и у нее были свои мысли об ожидаемом. А во-вторых, как же можно было не остановиться возле приветствовавших тебя какжданного гостя соседей? И как было не ответить на эти приветствия и вопросы: «А не видели ли наших?», «А не собираются ли они в деревню?», «А что слышно насчет войны?» Последний вопрос всерьез волновал тогда моих земляков.

Ну а в-третьих, когда бы я мог иметь возможность представить моим читателям своих деревенских соседей, рассказать то, что я о них знаю?

Собственно, ведь в этом и состоит главная цель моих воспоминаний. Куда же торопиться?

За этими рассуждениями мы и продолжаем наш памятный путь и въезжаем в проулок. Он не длинен. Метров примерно в пятьдесят между усадьбами Илюшиных и Павла Семенова.

Над ним сплелись кроны посаженных слева и справа черемух так, что неба было не видно. Поэтому здесь летом всегда было сыро и темно, а в жару прохладно. В мокрую погоду, весной и осенью, да и в дождливое лето он становился непроходимым. Густая черноземная грязь на дне этого ущелья никогда не просыхала. Словом, проулок был последним препятствием, которое надо было преодолеть с трудом, чтобы войти в центр деревни, некогда, в далекие века, являющейся земляным фортом обороны на левом фланге города-крепости Мценска. Других препятствий, кроме жидкой грязи после дождя, на нашем пути уже не было. И мы, выйдя из-под свода зеленых ветвей проулка, вдруг оказались под высоким голубым куполом неба. Как из преисподней мы выехали на свет Божий.

Внутренняя структура центра деревни в новейшее время, я думаю, в принципе, сохранялась в прошлых очертаниях рубежей, канав и проезжей улицы. Деревня когда-то организовалась вокруг или, точнее, около единственного колодца. Он связывал ее воедино.

На небольшой площади примерно сто на сто сажень располагались компактно все ее дворы. С водой у нас было плохо. Долго и упорно наши мужики искали другие источники.

Но вода в них всегда оказывалась непригодной даже для скотины. Очень скоро вновь вырытые колодцы задыхались, и вода в них просто протухала. Так и обходились одним колодцем и для людей, и для скота. Воды в нем хватало на всех, и была она чистой, холодной и вкусной. Водопоями, правда, служили еще два деревенских пруда.

Мама всегда говорила, живя в Москве, что лучше чая, чем с водой из нашего колодца, она никогда не пивала. Он и по сю пору цел. Я его видел в восьмидесятом году. Только не увидел я уже тогда вокруг него нашей деревни.

Но в то безмятежное, довоенное солнечное июньское утро нашего приезда деревня еще дымила почти всеми трубами. Все жители в этот час были еще дома, заканчивали завтрак и собирались в поле. А около правления колхоза председатель с бригадами громко обсуждали какую-то сенокосную проблему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.